

От стыда к внутренней эмиграции:

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАСИЛИЕ В ГОДЫ
ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ (XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА)¹

Vladislav Aksenov

From Shame to Internal Emigration: The Emotional Reactions of Russian Society
to State Violence in the Years of Wars and Revolutions (19th—20th Centuries)

Владислав Аксенов (Институт российской истории РАН, ведущий научный сотрудник; доктор исторических наук) vlaks@mail.ru.

Vladislav Aksenov (Dr. habil.; Senior Research Fellow, Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences) vlaks@mail.ru.

Ключевые слова: история эмоций, trauma studies, коллективная вина, патриотизм, внутренняя эмиграция, Крымская война, Польское восстание, Первая мировая война

Key words: history of emotions, trauma studies, collective guilt, patriotism, internal emigration, Crimean War, November Uprising, World War I

УДК: 94(47)

DOI: 10.53953/08696365_2023_184_6_182

UDC: 94(47)

DOI: 10.53953/08696365_2023_184_6_182

В статье исследуются эмоциональные реакции образованных слоев общества на различные формы государственного насилия — в первую очередь внешние войны и внутренние репрессии. Автор, используя методологию истории эмоций, trauma studies и психологии эмоций, отмечает, с одной стороны, типичность общественных реакций на насилие на психологическом уровне, с другой — эволюцию оправдывающих насилие смыслов. Тем не менее в большинстве случаев можно говорить о том, что в условиях войн и революций политические метаморфозы современников объяснялись не естественной идейной эволюцией, а полученной психологической травмой. В этом плане коллективные эмоциональные реакции от шовинистической позиции «Права или нет, это моя страна!» до испытываемого чувства коллективного стыда отражали определенные стадии принятия стрессовой ситуации. Автор приходит к выводу, что изученные общественные реакции позволяют говорить о травмирующем характере взаимоотношений личности и государства при авторитарном режиме, который становится следствием когнитивно-ценностного диссонанса: представления индивида о справедливости, обязанностях власти расходятся с реалиями государственной политики.

This article studies the emotional reactions of the educated strata of society to different forms of state violence, primarily foreign wars and internal repression. Using the methodology of the history of emotions, trauma studies, and the psychology of emotions, the author notes, on the one hand, the typicality of public reactions to violence on a psychological level, and on the other, the evolution of rationale that justified violence. Nevertheless, in the majority of cases, we can say that in the conditions of war and revolution, the political metamorphoses of contemporaries could not be explained by the natural evolution of ideas, but rather the resulting psychological trauma. In this regard, the collective emotional reactions from the chauvinistic position of, “Right or wrong, it’s my country!” to the experience of the feeling of collective shame reflected certain stages of acceptance of stressful situations. The author concludes that the studied societal reactions allow us to talk about the traumatic nature of the relationship between the individual and the state under an authoritarian regime, which becomes a consequence of cognitive and value dissonance: the individual’s ideas about justice and the responsibilities of the government diverge from the reality of state politics.

1 Статья является концептуализацией пролога научно-популярной книги автора. См.: [Аксенов 2023].

Взаимоотношения государства и общества давно выступают предметом изучения исторической науки. Чаще всего исследования проводятся в институциональном ключе, когда главными героями оказываются учреждения, организации, социальные или политические институты, реже — ментальные структуры (идеи, понятия, ценности и пр.). Тем не менее в последнее время актуальность приобретает исследование массовых эмоциональных реакций, которые в периоды кризиса начинают определять политику. Не случайно многие современники в разные времена отмечали, что войны и революции имеют не идейно-рациональную, а эмоционально-иррациональную природу.

В настоящей статье речь пойдет об эмоциональных реакциях образованных слоев общества на различные формы государственного насилия — в первую очередь внешние войны и внутренние репрессии (включая военные операции по подавлению мятежей и протеста), — отразившиеся в источниках личного происхождения (преимущественно дневниках) в XIX — начале XX века. Методологическим инструментарием выступают концепции психологии эмоций, истории эмоций и *trauma studies*, следы которых обнаруживаются в письменном наследии россиян. Характерно, что в ряде случаев, в то время как одна часть общества переживала государственное насилие как проявление несправедливости, как коллективную травму, другая часть общества отрицала травмирующий характер насилия, оправдывая его интересами нации, патриотизмом². Этап отрицания является защитной психологической реакцией, которая стремится уберечь индивида от нежелательных переживаний, в частности от чувств стыда и вины, способных развиться в меланхолию, депрессию. В отличие от врожденных базовых эмоций стыд и вину часто относят к приобретаемым социальным эмоциям, которые необходимы для социализации индивида³. Если на индивидуальном уровне эмоция стыда свидетельствует о том, что индивид усвоил общественные нормы, коллективно-переживаемая эмоция стыда говорит о социальной зрелости группы (гражданского общества, нации, класса и пр.), способности чувствовать ответственность не только за свои действия, но и поступки других членов коллектива. По мнению американского психолога К. Изарда, главное отличие чувства вины от стыда состоит в том, что если стыд только предполагает наказание, то испытываемая вина уже является самонаказанием субъекта (индивида или общества) [Изард 1999: 408]. Тем самым испытываемые обществом стыд и вина могут являться следствием переживаемой травмы, но при этом и сами производить новый травмирующий эффект. Впрочем, немецкий историк Й. Рюзен рассматривает повторную травматизацию как способ осмысления и предотвращения в будущем приведших к кризису действий [Рюзен 2005: 61—62]. О том же писал Ф. Анкерсмит, назвав

-
- 2 Несмотря на употребление психиатрической терминологии, под «травмой» в настоящей статье будет пониматься не узкое значение, используемое в клинической психиатрии для выявления посттравматического стрессового расстройства индивида, а событие, вызвавшее длительную общественную рефлексию, сопровождающуюся переживаемыми негативными эмоциями (чувствами горя, стыда, вины, ненависти).
 - 3 К. Изард тем не менее допускает отнесение стыда к базовым эмоциям, считая социальной эмоцией чувство вины [Изард 1999], в то время как С. Томкинс рассматривает стыд и вину как одну эмоцию [Tomkins 1963]; Е.П. Ильин склоняется к тому, что «стыд является трансформированной в результате социализации биологической эмоцией страха», в то время как эмоция вины сопровождается чувством раскаяния [Ильин 2001].

коллективные травмы основой гражданской идентичности: «коллективная идентичность в основном есть совокупность шрамов в нашей коллективной душе», — считая их примером «возвышенного исторического опыта» [Анкерсмит 2007: 444]. Способность общества испытывать коллективное чувство моральной или метафизической вины за ошибки своего государства К. Ясперс назвал необходимым условием духовно-нравственного обновления нации [Ясперс 1999: 16]. Эти позиции соответствуют психологии эмоций, рассматривающей вину, которая сопровождается чувством раскаяния, как отражение совести — регулятора нравственного поведения. Таким образом, встречающиеся в письменных источниках примеры переживаемого стыда и вины за определенные исторические ошибки свидетельствуют о развитой гражданской ответственности авторов.

Чувства стыда и вины часто связаны с нарушением определенных норм, частным примером чего может рассматриваться необоснованное насилие, попирающее представления о справедливости, гуманизме, милосердии и прочих моральных ценностях. Насилие в разных формах (физическое, психологическое, политическое, экономическое и т.д.) хоть и является традиционным элементом социального пространства, несмотря на наличие или отсутствие правового основания вызывает определенные психологические реакции как со стороны тех, против кого оно направлено, так и со стороны свидетелей. Во втором случае реакции часто объясняются эмпатией, связанной с деятельностью зеркальных нейронов, автоматически «примеривающих» на своего носителя чужие страдания. Тем самым эпохи насилия оказывают травмирующий эффект не только на непосредственно пострадавших, но и на сочувствующих им. В психологии это известно как «травма свидетеля», причем во время нее задействуются те же механизмы психики, что и при травмировании непосредственной жертвы⁴. Чаще всего «травма свидетеля» возникает при непосредственном наблюдении трагического события, но в отдельных случаях психологи фиксируют травмирующий характер новостей.

Не удивительно, что в годы войн и революций психиатры отмечали возрастание числа своих пациентов. Во время первой российской революции в сентябре 1905 года в Киеве проходил II Съезд отечественных психиатров, на котором в качестве одной из причин роста душевных расстройств современников был назван «административно-полицейский произвол» [Труды... 1907: 503]. События революции нанесли психическую травму философу Н.О. Лосскому, который вспоминал, что подписание царского манифеста 17 октября 1905 года вызвало среди его знакомых «радостное волнение», но когда на следующий день он узнал, что историк Е.В. Тарле ранен конным жандармом на митинге у Технологического института, то «пришел в состояние крайнего возбуждения, которое закончилось сердечным припадком, чрезвычайно ускоренным сердцебиением и тягостным чувством близости смерти» [Лосский 2012: 118]. Панические атаки преследовали Лосского вплоть до весны 1917 года, когда были вытеснены новым сильнейшим переживанием.

Тем не менее изучение насилия и его реакций не должно ограничиваться рамками психологического подхода, так как формальная связка «насилие как стимул — травма как реакция» нуждается в уточнении субъективных идейно-смысловых структур. На практике для человека нередко оказывается важным

4 См. об этом: [Петракова 2022].

не насилие как таковое, а его теоретическое обоснование и объект, против которого оно направлено (против «своего» или «чужого»). В качестве примера можно привести реакцию начальницы Санкт-Петербургского Елизаветинского института благородных девиц М.Л. Казем-Бек (урожденной Толстой), уделявшей особое внимание нравственному воспитанию своих учениц, на жесткий разгон полицией мирной патриотической демонстрации в марте 1913 года. Казем-Бек возмущалась в своем дневнике поведением представителей власти: «Полиция не нашла ничего лучшего, как разгонять толпу нагайками и топтать людей лошаадьми... Возмутительная история!..» [Казем-Бек 2016: 353]. Однако еще больше она возмутилась последовавшими от министра внутренних дел Н.А. Маклакова словами сожаления, когда министр извинился в Государственной думе за действия полиции и заявил, что «нагайкам он не сочувствует». Начальница института благородных девиц возмущалась не насилием как таковым, а тем, что оно было направлено против патриотической демонстрации, считая, что в отношении оппозиционеров можно применять и более жесткие средства: «Если манифестация сама по себе благонамеренна, то она допустима, и дело полиции лишь удерживать ее в границах благоразумия. Если же манифестация злонамеренна, то ее надо разгонять не только нагайками, но хотя бы пулями» [Там же: 354]. Не понимая, что определение благонамеренности или злонамеренности меняется в зависимости от обстоятельств времени, ценностно-идейных переменных в доктринах власти, Казем-Бек впадала в неизбежное противоречие, так как в соответствии с ее позицией оказывалось, что «топтать людей лошаадьми» все же можно, если это «неправильные» люди — «чужие». Казем-Бек испытывала страх перед революцией и толпой, и призыв к министру внутренних дел не бояться действовать жестко был следствием страха перед насилием снизу, выступал своеобразной реакцией компенсации. При этом следует заметить, что в определенных случаях оправдание насилия оказывается самообманом, попыткой вытеснения полученной травмы через ее отрицание или торг, так как иначе протест против насилия потребует затраты больших психических сил. Подобный конформизм оказывается тактикой приспособления и выживания в агрессивной среде, но в конечном счете он чреват ухудшением психологического состояния, так как травма не исчезает, остается источником проблем в будущем. Призывы правых в лице Казем-Бек к насилию над оппозиционерами вернулись бумерангом в годы Великой российской революции классовым насилием и красным террором.

Политическая избирательность сочувствия к жертвам насилия противоречит гуманизму и противостоит сочувствию, в основе которого лежит естественная эмпатия, не знающая условных барьеров между «своими» и «чужими». Такое чувство сострадания проявляется тогда, когда «свои» осуществляют насилие над «чужими», например во время внешней агрессии. В 1849 году, когда Николай I направил войска на подавление восстания в Венгрии ради сохранения целостности союзной Австрийской империи, в российском обществе произошел патриотический раскол. Часть образованных слоев задалась вопросом, уместно ли поддерживать агрессию своего государства только потому, что оно «свое». Н.Г. Чернышевский записал в дневнике 11 июля 1849 года: «Друг венгров, желаю поражения там русских и для этого готов был бы многим пожертвовать» [Чернышевский 1939: 297].

В 1816 году подвыпивший американский офицер С. Декатур произнес тост: «Right or wrong, our country!» — ставший лозунгом джингоизма (национал-

шовинизма). Впоследствии эта позиция неоднократно подвергалась критике. Немецкий социолог Р. Михельс, отталкиваясь от тезиса англичанина Р. Берта, что «выше патриотизма стоят гуманность и справедливость», считал безнравственным провозглашенный Декретом принцип и полагал, что «бывают моменты в исторической жизни народов, когда истинные патриоты должны желать не победы, а поражения, иногда даже временного уничтожения своего отечества. Это должно быть во всех случаях, когда патриотизм не совпадает с всеобщим культурным прогрессом» [Михельс 1906: 30]. На близкой позиции стояли некоторые российские дворяне, желавшие поражения России в Восточной (Крымской) войне. Бывший главный цензор России, начальник Главного управления по делам печати Е.М. Феоктистов с некоторым осуждением вспоминал своих знакомых в те годы:

Во время Крымской войны люди, стоявшие высоко и по своему образованию, и по своим нравственным качествам, желали не успеха России, а ее поражения. Они ставили вопрос таким образом, что если бы император Николай восторжествовал над коалицией, то это послужило бы и оправданием, и узаконением на долгое время господствовавшей у нас ненавистной системы [Феоктистов 1991: 54].

Когда в разгар войны умер Николай I, это вызвало чувство облегчения у противников репрессивного режима, которые называли войну «позорной», считали ее «злом и несчастьем» [Письма... 1959: 611]. В обществе пересказывали письмо историка К.Д. Кавелина Т.Н. Грановскому, в котором выражался восторг по поводу того, что «калмыцкий полубог, прошедший ураганом, и бичом, и катком, и терпугом по русскому государству в течение 30-ти лет... это исчадие мундирного просвещения и гнуснейшей стороны русской натуры — околел, наконец» [Там же: 607]. В определенных кругах не без оснований заговорили о неизбежности политической оттепели.

Следует заметить, что Михельс, говоря о необходимости при известных обстоятельствах поражения отечества, имел в виду прежде всего государство, в то время как часть россиян в XIX веке разводила эти понятия. Например, участник войны 1812 года 19-летний поручик лейб-гвардии Семеновского полка А.В. Чичерин, пребывавший в состоянии уныния после сдачи Москвы французам, утешал себя в сентябре 1812 года тем, что гибель империи не означает гибели отечества: «Любовь к отечеству должна заставить меня все позабыть: пусть свершаются предательства, пусть армия потерпит поражение, пусть погибнет империя, но отечество мое остается, и долг зовет меня служить ему» [Пушин 2012: 226]. О том же писал славянофил И.С. Аксаков в 1864 году: «Государство, конечно, необходимо, но не следует верить в него как в единственную цель и полнейшую норму человечества. Общественный и личный идеал человечества стоит выше всякого... государства»⁵. Тем самым безоговорочная поддержка государства, власти не мыслилась частью патриотической общест-венности как обязательное условие патриотического поведения.

Тем не менее международная напряженность, усиливавшаяся военная тревога порождали в кругах консервативной общест-венности страх, который приводил, наоборот, к отождествлению понятий «отечество», «государство», «власть». Так, сотрудник Министерства иностранных дел Ф.И. Тютчев в статье

5 День. 1864. 17 октября.

«Россия и революция», написанной в 1848 году под впечатлением от так называемой весны народов — череды революций в Европе, — доказывал, что так как любая революция всегда направлена против христианства и имперства, без которых он не мыслил России, она автоматически угрожает существованию России. Такая подмена понятий должна была обосновать внешнеполитическую агрессию, из-за которой николаевская Россия была прозвана «жандармом Европы».

Принцип Декатура прельщал некоторых тем, что позволял не чувствовать себя диссидентом в своей стране, оставаться на стороне большинства, что давало ощущение психологического комфорта. Подавление второго Польского восстания 1863—1864 годов породило очередные переживания общественности, чувствовавшей несправедливость действий своей власти. Западник В.П. Боткин писал И.С. Тургеневу: «Какова бы ни была Россия, — мы прежде всего русские и должны стоять за интересы своей родины, как поляки стоят за свои. Прежде всякой гуманности и отвлеченных требований справедливости — идет желание существовать, не стыдясь своего существования» [Боткин, Тургенев 1930: 180]. Разоблачающими здесь являются слова Боткина о стыде — позиция «Right or wrong, our country!» направлена на подавление этого чувства, выступает стадией отрицания травмы. Хорошо знавший Боткина Е.М. Феокистов дал ему характеристику, объяснявшую приверженность шовинистическому принципу Декатура желанием сохранения психологического комфорта: «Принадлежал он к числу людей, которые стараются отогнать от себя всякую мысль, отделаться от всякого ощущения, способного нарушить спокойствие их духа... При малейшей неприятности он приходил в неистовое раздражение, шипел, проклинал весь мир» [Феокистов 1991: 36]. Подобная позиция становится благодатной почвой для распространения постправды — ситуации коллективного самообмана ради сохранения психологического комфорта, в том числе поддержания псевдопатриотического чувства национального величия в периоды внутренних и внешних неудач⁶.

Пропаганда нервировала современников милитаристской риторикой, усиленно формируя образ внешнего врага. Публицист и редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков обвинял Запад в том, что он пытается «отнять у России не только значение великой державы, но и всякое политическое значение»⁷. Подобное обвинение может рассматриваться в качестве своеобразного комплекса субъектности, при котором представители одной державы, чувствуя несоответствие своих амбиций той реальной роли, которая отводится стране на международной арене, пытаются компенсировать чувство неполноценности перенесением ответственности на других, обвиняя их в тайном сговоре или переводя вопрос в русло цивилизационного противостояния. В эти годы в консервативной мысли формируется комплекс обиды на Европу за ее неблагодарность (за освобождение от Наполеона, «спасение» от революций и пр.). Еще в 1854 году М.П. Погодин утверждал, что «Россия пятьдесят лет служила Европе», но в итоге ей досталась лишь «черная неблагодарность» [Погодин 1874: 93].

6 Термин «постправда» получил распространение после публикации статьи С. Тесича, в которой было показано, что ложь правительств в ряде случаев опирается на желание самих обществ быть обманутыми во имя психологического комфорта — сохранения чувства национального самоуважения [Tesch 1992].

7 Московские ведомости. 1863. 3 апреля.

Образ «неблагодарной Европы» на долгое время становится основой консервативной цивилизационной теории, противопоставлявшей Россию Западу и предрекавшей войну между ними как итог цивилизационного противостояния⁸. В конечном счете подогревавшийся военно-патриотической пропагандой страх консерваторов перед Европой вылился в сильную военную тревогу 1863 года, которая порождала панику в духе эсхатологических фобий. По свидетельству дочери, Ф.И. Тютчев одновременно и жаждал большой войны с Европой, и боялся ее, впадал в панику и твердил о «нашей гибели». И.С. Аксаков, также почти смирившийся с мыслью о неизбежности войны, пытался успокоить себя тем, что она приведет к возрождению «народной Руси».

Современники видели, что военно-патриотическая истерия была раздута печатью, и ругали ответственные за нее издания и их издателей-пропагандистов: «Гнусный “Русский вестник”! Гнусный Катков!», — а также гадали на страницах своих дневников: «Будет война или не будет? — вот великий нынешний вопрос. Будет? Не будет?» [Штакеншнейдер 1934: 326, 327]. Часть общества, признававшая несправедливость государства и ощущавшая собственное бессилие, пребывала в угнетенном состоянии и испытывала чувства коллективного стыда и вины. Молодая петербурженка писала в дневнике:

Невольным образом я становлюсь на сторону поляков... Теперь, когда мы-то виноваты во всем этом великом несчастье, этом безвыходном несчастье, теперь я не могу не защищать их... Тяжелое время, чем кончится оно? О Екатерина Вторая, мать отчества! Спасибо тебе! Это твой старый грешок проклятием лег на наши души. Тебе обязаны мы этим несчастьем, этим позором [Там же: 330—331].

В этих словах характерно использование местоимений первого лица множественного числа «мы» и «наш» — готовность разделить вину за злодеяния, к которым автор не имел непосредственного отношения, свидетельствует о признании, по классификации К. Ясперса, коллективной «метафизической вины», что говорит об осознанной нравственной позиции и развитой гражданской ответственности. Вместе с тем затянувшееся чувство вины, самобичевание из-за понимания собственного бессилия имеет неблагоприятные последствия для психологического состояния общества в целом, так как развивает коллективную «травму стыда», как правило, среди невиновных, тех, кто в силу своей душевно-психической организации наиболее эмпатично воспринимает чужие страдания. Преодоление травмы требует ее перевода из области эмоций в область идей, закрепленных в публичных текстах. Однако последнему сопротивлялась цензурная политика государства.

Понимавшие внутреннюю противоречивость принципа Декатура современники симпатизировали полякам, отождествляли себя с ними, одновременно противопоставляя себя собственным властям. Е.А. Штакеншнейдер признавалась в дневнике, что в это время совесть «всякого мыслящего русского» не могла быть спокойна: «Россия, Россия, родная, до чего доигрались с тобой! Какого тяжелого драматизма полно положение всякого мыслящего русского! Я бы хотела теперь быть полячкой и с чистой совестью от всего сердца биться за родную землю» [Там же: 329]. К тому же призывал А.И. Герцен в прокламации «Земли и воли»: «Мы с Польшей, потому что мы за Россию.

8 См., например: [Данилевский 1995: 31—32, 367].

Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимости Польши, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих... Да, мы против империи, потому что мы за народ!» [Герцен 1959: 90–91].

Следует заметить, что далеко не все консерваторы ставили интересы империи выше интересов народа. Славянофилы-почвенники, поддерживавшие военно-патриотическую эйфорию, мечтали о воскрешении вследствие войны «народной Руси», признавая современную отсталость России даже перед Польшей. Так, Н.Н. Страхов в 1863 году в журнале М.М. и Ф.М. Достоевских «Время» анонимно опубликовал критическую статью «Роковой вопрос», в которой описал польские события как борьбу цивилизованных поляков с русским варварством. При этом автор находил слова утешения для патриотов-шовинистов, противопоставляя внешнюю «государственную цивилизацию» внутренней «народной цивилизации»: «В европейской цивилизации, в цивилизации заемной и внешней, мы уступаем полякам; но мы желали бы верить, что в цивилизации народной, коренной, здоровой мы превосходим их или, по крайней мере, можем иметь притязание не уступать ни им, ни всякому другому народу»⁹. Ответом стала статья в «Московских ведомостях» К.А. Петерсона, в которой автор «Рокового вопроса» обвинялся чуть ли не в национальном предательстве.

Смещение акцента с цивилизации на народность, свойственное и Аксакову, и Страхову, было своеобразной психологической терапией, попыткой избавиться от чувства неполноценности перед Западом возвращением чувства гордости за народную духовность. В этом состояла главная уязвимость патриотической теории: самообольщение в результате признания только положительных эмоций и отрицание негативных оценок в адрес отечества. Накал патриотических страстей и их диапазон можно описать в психологическом ключе. С точки зрения психологии Катков с Петерсоном с одной стороны и Страхов с Аксаковым с другой находились на разных эмоциональных стадиях принятия стрессовой ситуации (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие¹⁰), связанной с признанием недостатков своего отечества: первые находились где-то между отрицанием и гневом, в то время как вторые достигли стадии торга — пытались «обменять» цивилизацию на народность.

У оппозиционно настроенной общественности открывшийся когнитивно-ценностный диссонанс вызывал гнев и ненависть: насилие сверху порождало насилие снизу. Переход разночинной молодежи к революционной и затем террористической деятельности отвечал реалиям взаимоотношений общества и государства. Важно, что в основе этого решения лежало чувство эмпатии — сопереживание бедствиям народа — перераставшее в гнев и ненависть к представляемым виновникам и готовность к самопожертвованию. Н.А. Морозов вспоминал, что молодых революционеров-народников отличало особенное эмпатическое отношение к тяжелой жизни крестьян, накладывавшееся на

9 Время. 1863. № 4. С. 160.

10 В нашем случае строгий порядок чередования стадий (что может относиться к индивидуальным особенностям) или их точное количество не важно, важна сама психологическая модель, описывающая разные эмоциональные реакции человека на некий травмирующий опыт в соответствии с его психологическим состоянием и уровнем эмоционального интеллекта.

присущие юности романтизм и максимализм. В начале своей народнической деятельности Морозов рассуждал:

Разве не хорошо погибнуть за истину и справедливость?.. К чему же тут разговоры о том, откликнется народ или не откликнется на наш призыв к борьбе против религиозной лжи и политического и общественного угнетения? Разве мы карьеристы какие, думающие устроить также и свои собственные дела, служа свободе и человечеству? Разве мы не хотим погибнуть за истину? —

но в то же время признавался, что «не верил в тогдашнего крестьянина, а только жалел его» [Морозов 1916: 66].

Впрочем, жалость к простому народу была характерна не только для революционеров или либералов, но и консерваторов. Публицист М.О. Меньшиков, посетивший в конце 1903 года выставку «Детский мир» и писавший о том, что бедному крестьянскому ребенку доступна вся гамма ощущений, которых лишен отпрыск зажиточных слоев, тем не менее приходил к следующему заключению: «Бедность — прекрасное условие всякой жизни, но, к несчастью, уже нельзя говорить о народной бедности. Народ уже не беден, — он нищ... И нищета дает уже другие, совсем особые, крайне ужасные явления» [Меньшиков 2021: 87]. Можно было бы предположить, что пишущие о народных бедствиях консерваторы негативно отзовутся о Русско-японской войне, которая, как любая война, должна лишь ухудшить положение беднейших слоев, однако Меньшиков находил слова оправдания военным приготовлениям, переводя разговор с уровня бедствий «маленького человека» на уровень «национально-стратегического», геополитического мышления, отмечая, что Россия стоит на страже Европы перед «желтой угрозой», и призывал к устранению последней. В январе 1904 года в статье «Философия войны» Меньшиков писал: «Мир есть состояние благословенное для тела народного, но для духа нации, для высшей индивидуальности масс мир гибелен... Отечество, государство — вот некое высшее существо, питавшееся войной» [Там же: 201]. Тем самым национально-имперское мышление вступало в противоречие с народно-общественным.

Во время войны человек сталкивается с различными видами и формами насилия: прежде непосредственной угрозы физической гибели на фронте он подвергается насильственной мобилизации, перечеркивающей его сложившуюся жизнь. Государственнический патриотизм предписывает воинскую повинность воспринимать как благородную обязанность защищать отечество, вот только ее принудительный характер раскрывает насильственную, крепостническую природу мобилизации, что вызывало у некоторых современников когнитивно-ценностный диссонанс. Писатель А.В. Дружинин делился на страницах дневника эмоциями периода мобилизации 1854 года, в которых обнаруживается целый букет переживаний — от печали и гнева до чувства стыда:

Всех бесстыдных мерзавцев, толкующих о трофеях, военной славе и прочем в таком роде, я посадил бы в мою кожу за эти дни. Была сдача рекрут, и я убил все утро в Казенной палате и ее окрестностях. Хотя в этот набор пошли с рук порядочные негодяи, но мне было так жалко, грустно и странно, что я готов был на это время провалиться сквозь землю. Все это так тяжело, печально, так несогласно с моими понятиями, что я и теперь будто брожу во сне. Староста, бывший при сдаче рекрут, дрожал как лист, всюду мелькали бледные, убитые фигуры!.. Я сделал почти все, что мог, дал рекрутам денег, дам им еще на дорогу, велю им к себе

писать и, когда их пристроят к своим частям, положу на их имя деньги в артель. Это буду я делать всегда и для всех, даже для негодяев, и такой расход будет для меня священным расходом [Дружинин 1986: 322].

Хотя мобилизация 1904 года пришлась на эпоху всеобщей воинской повинности, проводилась она также на редкость беспорядочно, сопровождалась разорением хозяйств, массовым пьянством мобилизованных. Писатель В.В. Вересаев, призванный на войну ординатором военного госпиталя в Мукдене, вспоминал, как забирали военнообязанных в Тульской губернии:

В деревнях людей брали прямо с поля, от сохи. В городе полиция глухой ночью звонила в квартиры, вручала призываемым билеты и приказывала немедленно явиться в участок. У одного знакомого инженера взяли одновременно всю его прислугу: лакея, кучера и повара. Сам он в это время был в отлучке, — полиция взломала его стол, достала паспорта призванных и всех их увела. Было что-то равнодушно-свириное в этой непонятной торопливости. Людей выхватывали из дела на полном его ходу, не давали времени ни устроить его, ни ликвидировать. Людей брали, а за ними оставались бессмысленно разоренные хозяйства и разрушенные благополучия... По всему городу стояли плач и стоны. Здесь и там вспыхивали короткие, быстрые драмы. У одного призванного заводского рабочего была жена с пороком сердца и пятеро ребят; когда пришла повестка о призыве, с женою от волнения и горя сделался паралич сердца, и она тут же умерла; муж поглядел на труп, на ребят, пошел в сарай и повесился [Вересаев 1988: 7].

Революции никогда не происходят случайно, в результате действий какой-то ограниченной группы лиц, им всегда предшествует процесс вызревания в сознании широких социальных слоев. Часть российского общества встретила 1905 год с чувством сильного разочарования как правительством, так и самим императором. Чувству стыда в ряде случаев сопутствовало раздражение в адрес властей, которых обвиняли в провоцировании ненужной народу войны. Некоторые представители интеллигенции, как и в годы Крымской войны, Польских восстаний, Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, желали своему правительству поражения, видя в этом главное условие внутренних преобразований:

Кругом, в интеллигенции, было враждебное раздражение отнюдь не против японцев. Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было и следа, наши неудачи не угнетали; напротив, рядом с болью за безумно-ненужные жертвы было почти злорадство. Многие прямо заявляли, что для России полезнее всего было бы поражение, —

вспоминал Вересаев [Там же: 4].

Дневники обывателей зафиксировали динамику эмоциональных состояний россиян в 1905 году. Так, например, публицистка и сотрудница редакции либерального журнала «Освобождение» А.В. Тыркова, знавшая о намерении рабочих отнести царю петицию 9 января, находясь в эмиграции, писала накануне о чувстве «тяжелой виноватости» оттого, что не может быть в этот день со своим народом. Когда же до нее дошли известия о расстреле безоружных рабочих, «виноватость» сменилась гневом и ненавистью:

Злоба, бессильная, безысходная злоба против правительственной шайки, сомкнувшейся кругом дрожащего самодержавного труса, против этих офицеров, стрелявших в толпу, в женщин, в маленьких детей. <...> То чувство презрительной

жалости, кот[орую] раньше вызывал к себе царь, исчезло. Убить его — убрать, чтобы не душил Россию окровавленными цепями, —

писала либералка и будущий член ЦК Партии народной свободы [Наследие... 2012: 67, 69]. Редактор «Освобождения» П.Б. Струве в эти дни разделял коллективную ответственность за Кровавое воскресенье: «Мы все должны с горечью чувствовать свою вину. Где же наша работа, что мы делали, если в Петербурге не нашлось ни одного солдата, ни одного офицера, который перешел бы на сторону народа?» [Там же: 69—70]. По мере развития революции в революционных и либеральных кругах крепла уверенность в неизбежности дарования царем Конституции; для консерваторов Манифест 17 октября стал неожиданностью. Современники с ужасом описывали начавшиеся на улицах столкновения разных политических сил, наибольший резонанс вызвали собрания в Томске, где патриоты-консерваторы из черносотенного «Русского собрания» заживо сожгли патриотов-революционеров из числа студентов и рабочих, устроивших митинг в городском театре.

Несмотря на появление в России гражданских свобод, Основных законов империи и законодательного представительного органа власти — Государственной думы, революция 1905 года вызвала неоднозначные реакции в среде отечественной интеллигенции, одна часть которой была напугана охватившим общество насилием, другая недовольна «незавершенностью» революции. Свойственная интеллигенции саморефлексия вновь вызывала чувство коллективного стыда, что отразилось в вышедшем в 1909 году сборнике критических статей «Вехи». В предисловии к нему М.О. Гершензон оправдывался, что статьи написаны не с «высокомерным презрением» к прошлому российской интеллигенции, «а с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны» [Гершензон 1991: 22]. С.Н. Булгаков в статье «Героизм и подвижничество» в качестве психологической особенности русской интеллигенции называл «социальное покаяние» перед народом, призывая интеллигентов-современников покаяться за грехи. Называя революцию духовным детищем интеллигенции и обвиняя последнюю в отходе от веры в угоду просветительскому «догмату человекобожества», нигилизме, Булгаков тем не менее считал, что именно на интеллигенции лежит миссия просвещения народа. Сборник «Вехи» пронизан разнообразными эмоциями — стыда и вины, гнева и даже презрения, которые авторы испытывают к недавнему прошлому интеллигенции, что указывает на то, что каждый из них находился на своей стадии принятия стрессовой ситуации. П.Н. Милюков посчитал рефлексию «веховцев» результатом охватившей общество после 3 июня 1907 года депрессии [Милюков 1991: 307].

Саморефлексия российской интеллигенции продолжилась в сборнике «Интеллигенция в России», ставшем ответом «веховцам». В нем один из основателей Партии народной свободы Н.А. Гредескул в качестве типичного представителя русской интеллигенции назвал «кающегося дворянина-разночинца», который сам «терзается и терзает других страданиями массы» ввиду своей особенной «нравственной чуткости» [Гредескул 1991: 233]. Считая причиной народных страданий порожденное государством насилие в форме крепостного права и абсолютизма, интеллигенция избрала объектом своей критики государственное насилие в различных его формах. Эмпатия и коллективный стыд становились эмоциональными признаками интеллигентного человека.

В 1911 году П.Б. Струве выпустил сборник своих статей под названием «Patriotica», объединенных чувством «патриотической тревоги», в которых призывал общественность к выработке «личной ответственности», а власти к признанию верховенства права и отказу от абсолютизма. Струве писал о столкновении нескольких «психологий» в революции, мешавших разным политическим группам понять друг друга и найти общий язык. Власть он обвинял в том, что ее идеалом является полицейская монархия, опирающаяся на «фальсификацию несуществующих патриархальных чувств», а радикально настроенную интеллигенцию — в том, что она разрушает государство, путая его с властью [Струве 1911: 51]. Д.С. Мережковский критиковал Струве за то, что он оправдывает кровожадность государства и, мечтая о Великой России, преклоняется перед его силой. Сам Мережковский сравнил государство с китом, проглотившим Иону: «...так именно государственность выбросила русскую интеллигенцию». Защищая радикализм интеллигенции от нападок Струве, Мережковский поднимал проблему взаимоотношения патриота с родиной: «Я люблю свободу больше, чем родину: ведь у рабов нет родины; и если быть русским значит быть рабом, то я не хочу быть русским; и если в такой любви к свободе вплоть до возможного отречения от родины состоит “банальный радикализм”, — я хочу быть банальным»¹¹.

Вызовом нравственной чуткости российской интеллигенции стала Первая мировая война. Формально начавшаяся с объявления Германией войны России, она преподносилась пропагандой как Вторая Отечественная. Значительная часть российской интеллигенции считала войну вынужденной мерой, но были и те, кто рассматривал ее как следствие проявившихся в международной политике имперских амбиций и коллективного чувства ресентимента, распространяемого пропагандой. Как минимум война сулила очередные бедствия простому народу, поэтому допустившая войну власть подвергалась критике. Второго августа 1914 года З.И. Гиппиус рассуждала в своем дневнике: «Что такое отечество? Народ или государство? Все вместе. Но если я ненавижу *государство* российское? Если оно — против моего народа на моей земле?» [Гиппиус 2003: 157]. На одном из собраний у М.А. Славинского поэтесса произнесла пацифистскую речь, доказывая, что любая война при любом исходе сеет зародыши новой войны. А.А. Ахматова в стихотворении «Июль 1914» пугала читателей последствиями войны в духе эсхатологических пророчеств:

Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затмения небесных светил...¹²

Неприятие войны обуславливалось не только страхом перед бедами, которые она принесет своему народу, но и тем, что врагом стала Германия, с которой у России были тесные культурные связи. Теперь эти связи разрывались. Другая российская поэтесса, М.И. Цветаева, считавшая Германию второй интеллектуальной родиной, выразила свой протест распространявшейся германофобии в следующих строках:

11 Речь. 1908. 24 февраля.

12 Ахматова А.А. Белая стая. СПб.: Кн-во Прометей Н.Н.Михайлова, 1918. С. 67.

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам!
Ну, как же я тебя оставлю,
Ну, как же я тебя предам?
И где возьму благоразумье:
«За око — око, кровь — за кровь!» —
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь!¹³

Позиция Цветаевой в военное время могла быть расценена как измена, национал-предательство, тем более что россияне, выражавшие антивоенные настроения, начали подвергаться административным и уголовным преследованиям. В августе 1914 года было отменено выступление П.Н. Милокова о пацифизме, а осенью под следствием оказалась группа толстовцев, распространявших воззвания «Опомнитесь, люди-братья!» и «Милые братья и сестры!». Автором первого из них был бывший секретарь Л.Н. Толстого В.Ф. Булгаков, гостивший в Ясной Поляне у С.А. Толстой. Последняя вспоминала, что полиция ночью 26 октября ворвалась в дом и устроила Булгакову допрос, а спустя два дня арестовала толстовца вместе с 27 подписантами. В первом воззвании говорилось:

Совершается страшное дело. Сотни тысяч, миллионы людей, как звери, набросились друг на друга, натравленные своими руководителями... забыв свои подобие и образ Божий, колот, режут, стреляют, ранят и добивают своих братьев... Наши враги — не немцы... Общий враг для нас, к какой бы национальности мы ни принадлежали, — это зверь в нас самих... [Булгаков 1922: 36].

Некоторые современники впадали в меланхолию и начинали испытывать стыд за свою эпоху перед потомками, потому что войной были попорчены идеалы просвещения, теории прогресса, так как война погружала мир в архаику. Московский обыватель писал в дневнике в феврале 1915 года:

Вот и про наше время через 100—200 лет историки тоже скажут, что страшно-то не то, что существовали такие властители, как Вильгельм II и родственники его, а то, что современники ихние шли за их кровавой и безумной волей и в век высшего проявления человеческого ума и изобретательности уподобились бессловесному и послушному стаду, поправ Христовы заповеди [Окунев 2020: 70].

В российских патриотических настроениях 1914 года оказались замешаны ингредиенты на любой вкус: реваншизм после Русско-японской войны, имперские мечты о средиземноморских проливах, теория о решающей битве двух цивилизаций — славянской и германской, торжество православия как единственно истинной веры и пр. В.В. Розанов писал, что после поражения в Русско-японской войне в российском народе отсутствовало воодушевление, и полагал, что новая война способна оживить и одухотворить нацию. Война способствовала замещению гуманизма имперскостью, милитаристами вдруг становились вчерашние пацифисты (как, например, П.Н. Милоков или И.А. Ильин), однако в некоторых публикациях авторы проговаривались, объясняя шовинис-

13 *Цветаева М.* Стихотворения и поэмы. СПб.: Азбука, 2019. С. 56.

тические метаморфозы современников тем, что война привносила в обыденное существование посредством героического начала. Следует заметить, что в основе патриотической эйфории лежала эмоция страха: публицисты объясняли необходимость общенационального единения, пугая читателей тем, что в противном случае России грозит уничтожение. С этой же целью поднимался «статус» войны: еще до того, как она стала мировой, ее характеризовали в качестве столкновения цивилизаций.

Далеко не все имели мужество и психическую способность противостоять военно-патриотической пропаганде. Подсознательно понимая опасность войны, то, что она несет людям гибель, в том числе близким, современники пытались примирить военно-патриотическую эйфорию с собственными страхами перед смертью. Результатом становились безумные концепции, в которых «уменье умирать» провозглашалось «традиционной ценностью» славянского мира: «Западные народы с усмешкой говорили о нас, что мы умеем умирать, но не умеем жить. И вот теперь, когда славянство даст миру свою культуру, мы докажем, что, только умирая, можно жить по-божески; что западное “уменье жить” есть мертвящее начало, а наше “уменье умирать” — животворит!..» [Казем-Бек 2016: 406]. Захлестнувшая публичное пространство патриотическая эйфория обнаруживала признаки массового психоза, поэтому не удивительно, что с первых месяцев войны психиатры стали отмечать рост нервных и душевных расстройств как среди солдат на фронте, так и у гражданского населения в тылу¹⁴.

Публичное пространство не допускало проявлений пессимизма и тем более пацифизма. В обществе распространялась шпиономания, а антивоенные настроения, равно как призывы к заключению скорейшего мира, рассматривались в качестве предательства. Считалось, что желать сепаратного мира могли лишь агенты Германии, поэтому массовые слухи объявляли Г. Распутина, противника войны, немецким шпионом, а заодно с ним и императрицу Александру Федоровну, якобы ведущую переговоры о мире с Вильгельмом II при посредничестве родного брата великого герцога Эрнста Гессенского. Антивоенно настроенные обыватели отмечали появившуюся напряженность в отношениях с сослуживцами. Писатель М. Кузмин, игнорировавший на страницах своего дневника военные и политические сюжеты, после того как 14 августа 1914 года его знакомый показал ему немецкие политические карикатуры, записал в дневнике: «Не шпион ли? Слухи самые плохие» [Кузмин 2009: 470]. Кто-то вынужденно уходил во «внутреннюю эмиграцию». В этой ситуации единственным «собеседником» мог остаться дневник. Герой написанной в 1916 году повести Л. Андреева «Иго войны» завел дневник, чтобы делиться в нем своими сокровенными мыслями, он писал о демонстрировавших ура-патриотический настрой сослуживцах, в то время как сам недоумевал:

Но что бы ни говорили в конторе и как бы ни кричали и ни распинались за войну газеты, про себя я твердо знаю одно: мне ужасно не нравится, что война. Очень возможно (да это так и есть), что более высокие умы: ученые, политики, журналисты способны усмотреть какой-то смысл в этой безобразной драке, но моим маленьким умом я решительно не могу понять, что тут может быть хорошего и разумного [Андреев 1916: 152].

14 Более подробно см.: [Аксенов 2020].

Тревожность эпохи отражалась в редких художественных текстах, фиксирующих распространение депрессивных настроений. В 1915 году В. Брюсов описал мучившие его по ночам кошмары:

Ночью ужас беспричинный
В непонятной тьме разбудит;
Ночью ужас беспричинный
Кровь палящую остудит;
Ночью ужас беспричинный
Озирать углы принудит;
Ночью ужас беспричинный
Неподвижным быть присудит¹⁵.

По мере осознания того, что война принимает затяжной характер, настроения современников ухудшались. Начавшееся с осени 1915 года наступление власти на общественные организации становилось тревожным симптомом ущемления политических свобод. Даже среди патриотов, веривших в победу России в войне, распространялся пессимизм. 31 октября 1915 года в Петроградском клубе общественных деятелей состоялось выступление профессора К.И. Арабажина, во время которого он отметил, что все победоносные войны, которые вела Россия, имели последствием торжество реакции. Докладчик считал, что настоящая война также закончится победоносно, и потому призывал «быть бдительными»¹⁶. Такая позиция становилась основой для «пораженческого патриотизма», тем более что постепенно современники теряли веру в победу. 31 декабря 1915 года Н.П. Окунев подводил промежуточные итоги, примиряясь с военным поражением ради прекращения народных страданий:

Что сказать в конце «пятнадцатого года»? В начале его я по-лермонтовски «глядел на будущее с боязнию, а на прошлое с тоской», по прошествии же смотрю с тоской и на будущее. Какая еще боязнь впереди: мы все испытали — хоронили детей, отцов, сестер, братьев... встречали возвратившихся героев без глаз, без ног, без рук, без рассудка и настолько привыкли к таким ужасным явлениям, что не стали болеть о них и к концу этого злосчастного пятнадцатого года даже не читаем списков убитых и раненых и не посещаем лазаретов... Столько страданий от ужасов войны не было, вероятно, от создания мира... да прекратится эта война как можно скорее! Пускай мы будем побеждены, но горя побежденным не будет!.. [Окунев 2020: 119—120].

Характерно, что с течением войны в дневниках современников ей уделялось все меньше внимания. Например, вдова Л.Н. Толстого С.А. Толстая с июля 1914 по декабрь 1916 года оставила в дневнике 264 записи, из которых война упоминалась в 29 (11%), причем в 1914 году война была упомянута в 17,4% случаев, в 1915 — в 11,4% и в 1916 — в 6%. Современники уставали от насилия и пытались предать войну забвению, однако насилие войны, породив «человека с ружьем», приближало насилие революции.

15 Брюсов В.Я. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 3. Стихотворения. 1918—1924. Поэма «Египетские ночи» и стихотворения, не включавшиеся В.Я. Брюсовым в сборники 1891—1924. М.: Художественная литература, 1974. С. 345.

16 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 102. Оп. 124. Д. 61, ч. 9, л. А. Л. 26—26 об.

Усиливавшееся недовольство войной приводило к росту оппозиционно-революционных настроений. Парадокс заключался в том, что с помощью общественного насилия надеялись покончить с насилием государственным. Убийство Распутина 16 декабря 1916 года вызвало позитивные эмоции у значительной части образованных слоев, что не могло не привести к когнитивно-ценностному диссонансу: «Должно сказать, что вообще убийство Распутина возбуждало решительно всеобщую радость. Я не видал еще никогда, чтобы убийство, во всяком случае, дело трагическое, возбуждало такую радость и — прямо сказать — сочувствие», — писал в дневнике Л.А. Тихомиров [Дневник... 2008: 321]. Дочь Л.Н. Толстого называла организаторов убийства «новыми декабристами», пожертвовавшими собой ради Родины, но при этом грустила из-за того, что «совершенное преступление никакой пользы не принесет нашему несчастному отечеству, а ляжет на совести свершивших это дело кровавым, несмываемым пятном» [Сухотина-Толстая 1984: 486]. Осенью 1916 года часть общества переживала современность в качестве последних времен. Эсхатологические образы катастрофы пронизывали дневники разных по своим политическим взглядам авторов.

Тем не менее, когда в феврале 1917 года разразилась революция, некоторые поддержавшие ее современники упорно отрицали многочисленные факты жестокости по отношению к ненавистным представителям «старого строя» — городским и офицерам. Член ЦК кадетов А.В. Тыркова в своем дневнике пыталась представить февральские беспорядки в Петрограде в виде всеобщего восторга, безобидного праздника, отметив, что «толпа ни разу не была оскорбительна» [Тыркова 1992: 328]. Даже статс-дама Е.А. Нарышкина записала 28 февраля не без определенного удовлетворения свершившимся переворотом: «На улицах полный порядок, нигде ни малейшего насилия. Стреляют только в зачинщиков; тех, кто сдал оружие, оставляют в покое... Полная революция произведена спокойно» [Нарышкина 2018: 409]. Часть общества вновь отрицанием проблемы пыталась избежать травмы разочарования революционными иллюзиями, развивая миф о «Великой бескровной». Впрочем, начавшаяся вскоре Гражданская война заставила принять реальность во всей ее трагичности.

Таким образом, реакции определенной части общества на государственное насилие были типичными, в одних случаях оставались индивидуальными, в других выливались в общественное пространство в виде художественных и публицистических текстов, формирующих определенные дискурсы (например, патриотический). При этом если на индивидуальном уровне реакции на протяжении двух веков оставались неизменными, то в публичном пространстве они обрастали оправданиями-смыслами, которые обнаруживают определенную эволюцию. Важным признаком нравственной чуткости оказывалась переживаемая эмоция коллективного стыда или вины — свидетельство эмпатического восприятия реальности, способности за абстрактными категориями разглядеть живого маленького человека. Наоборот, оправдание насилия «высокими материями» в ряде случаев оказывалось свидетельством либо непережитой психологической травмы, либо психопатического склада. В целом реакции позволяют говорить о травмирующем характере взаимоотношений личности и государства при авторитарном режиме, который становится следствием когнитивно-ценностного диссонанса: представления индивида о справедливости, обязанностях власти расходятся с реалиями государственной полити-

ки. В ряде случаев реакции современников складываются в известные стадии принятия стрессовой ситуации, нередко определяющие суть идейных расхождений оппонентов, находящихся на этапах отрицания, гнева, торга, депрессии или принятия травмы. Анализ идейно-теоретического наследия российских интеллектуалов позволяет обнаружить в них признаки травмы и попытки ее преодоления посредством поиска новых смыслов, как правило сводимых к абстрактным, внутренне противоречивым концепциям, в которых провозглашаемые высокие национальные ценности отрицают ценности жизни и благополучия личностей, составляющих эту нацию.

Библиография / References

- [Аксенов 2020] — Аксенов В.Б. Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914—1918). М.: Новое литературное обозрение, 2020.
- (Aksenov V.B. Slukhi, obrazy, emotsii. Massovye nastroyeniya rossiyan v gody voyny i revolyutsii (1914—1918). Moscow, 2020.)
- [Аксенов 2023] — Аксенов В.Б. Война патриотизмов: пропаганда и массовые настроения в России периода крушения империи. М.: Новое литературное обозрение, 2023.
- (Aksenov V.B. Voyna patriotizmov: propaganda i massovye nastroyeniya v Rossii perioda krusheniya imperii. Moscow, 2023.)
- [Андреев 1916] — Андреев Л. Иго войны // Метель. Литературные альманахи издательства «Шиповник». Кн. 25. Пг.: Шиповник, 1916. С. 143—232.
- (Andreev L. Igo voyny // Metel'. Literaturnye almanakhi izdatelstva "Shipovnik". Bk. 25. Petrograd, 1916.)
- [Анкерсмит 2007] — Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт / Пер. с англ. М.: Европа, 2007.
- (Ankersmit F.R. Sublime Historical experience. Moscow, 2007. — In Russ.)
- [Боткин, Тургенев 1930] — Боткин В.П., Тургенев И.С. Неизданная переписка. 1851—1869. М.; Л.: Academia, 1930.
- (Botkin V.P., Turgenev I.S. Neizdannaya perepiska. 1851—1869. Moscow; Leningrad, 1930.)
- [Булгаков 1922] — Булгаков В.Ф. Опомнитесь, люди-братья!: история воззвания единомышленников Л.Н. Толстого против Мировой войны 1914—1918 гг. Т. 1. М.: Задруга, 1922.
- (Bulgakov V.F. Opomnites', lyudi-brat'ya!: istoriya vozzvaniya edinomyslennikov L.N. Tolstogo protiv mirovoy voyny 1914—1918 gg. Vol. 1. Moscow, 1922.)
- [Вересаев 1988] — Вересаев В.В. На японской войне: Живая жизнь. Минск: Народная асвета, 1988.
- (Veresayev V.V. Na yaponskoy voynе: Zhivaya zhizn. Minsk, 1988.)
- [Герцен 1959] — Герцен А.И. Прокламация «Земли и воли» // Собрание сочинений: В 30 т. Т. 17. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959. С. 90—91.
- (Gertsen A.I. Proklamatsiya "Zemli i voli" // Sobranie sochineniy: In 30 vols. Vol. 17. Moscow, 1959. P. 90—91.)
- [Гершензон 1991] — Гершензон М.О. Предисловие // Вехи. Интеллигенция в России. Сборник статей 1909—1910 / Сост. Н. Казакова. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 22—23.
- (Gershenson M.O. Predislovie // Vekhi. Intelligent-siya v Rossii. Sbornik statey. 1909—1910. Moscow, 1991. P. 22—23.)
- [Гишпиус 2003] — Гишпиус З.Н. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 8. Дневники: 1893—1919. М.: Русская книга, 2003.
- (Gippius Z.N. Sobranie sochineniy: In 15 vols. Vol. 8. Dnevniky: 1893—1919. Moscow, 2003.)
- [Гредескул 1991] — Гредескул Н.А. Перелом русской интеллигенции и его действительный смысл // Вехи. Интеллигенция в России. Сборник статей. 1909—1910. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 227—268.
- (Gredeskul N.A. Perelom russkoy intelligentsii i ego deystvitel'nyy smysl // Vekhi. Intelligent-siya v Rossii. Sbornik statey. 1909—1910. Moscow, 1991. P. 227—268.)
- [Данилевский 1995] — Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб.: Глаголь: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1995.

- (*Danilevskiy N. Ya.* Rossiya i Evropa. Saint Petersburg, 1995.)
- [Дружинин 1986] — *Дружинин А.В.* Повести. Дневник. М.: Наука, 1986.
- (*Druzhinin A. V.* Povesti. Dnevnik. Moscow, 1986.)
- [Дневник... 2008] — *Дневник Л.А. Тихомирова.* 1915—1917 гг. М.: РОССПЭН, 2008.
- (*Dnevnik L. A. Tikhomirova.* 1915—1917 gg. Moscow, 2008.)
- [Изард 1999] — *Изард К.* Психология эмоций / Пер. с англ. А. Татлыбаева. СПб.: Питер, 1999.
- (*izard C. E.* The Psychology of Emotions. Saint Petersburg, 1999. — In Russ.)
- [Ильин 2001] — *Ильин Е.П.* Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001.
- (*Ilin E. P.* Emotsii i chuvstva. Saint Petersburg, 2001.)
- [Казем-Бек 2016] — *Казем-Бек М.Л.* Дневники. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016.
- (*Kazem-Bek M. L.* Dnevnik. Moscow, 2016.)
- [Кузмин 2009] — *Кузмин М.* Дневник 1908—1915. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009.
- (*Kuzmin M.* Dnevnik 1908—1915. Saint Petersburg, 2009.)
- [Лосский 2012] — *Лосский Н.О.* Воспоминания. Жизнь и философский путь. Минск: Право и экономика, 2012.
- (*Losskiy N. O.* Vospominaniya. Zhizn' i filosofskiy put'. Minsk, 2012.)
- [Меньшиков 2021] — *Меньшиков М.О.* Письма к близким: полное собрание: В 16 т. / Сост., ред. Д.В. Жаворонков. Т. 3. 1904. СПб.: Машина времени, 2021.
- (*Men'shikov M. O.* Pis'ma k blizhnim. Vol. 3. 1904. Saint Petersburg, 2021.)
- [Милоков 1991] — *Милоков П.Н.* Интеллигенция и историческая традиция // Вехи. Интеллигенция в России. Сборник статей 1909—1910 / Сост. Н. Казакова. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 294—381.
- (*Milyukov P. N.* Intelligentsiya i istoricheskaya traditsiya // Vekhi. Intelligentsiya v Rossii. Sbornik statey 1909—1910. Moscow, 1991. P. 294—381.)
- [Михельс 1906] — *Михельс Р.* Что такое патриотизм? Киев: Правда, 1906.
- (*Mikhel's R.* Chto takoe patriotizm? Kyiv, 1906.)
- [Морозов 1916] — *Морозов Н.А.* Повести моей жизни. Т. 1. М.: Задруга, 1916.
- (*Morozov N. A.* Povesti moey zhizni. Vol. 1. Moscow, 1916.)
- [Нарышкина 2018] — *Нарышкина Е.А.* Мои воспоминания. Под властью трех царей. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
- (*Naryshkina Ye. A.* Moi vospominaniya. Pod vlast'yu trekh tsarey. Moscow, 2018.)
- [Наследие... 2012] — *Наследие Ариадны Владимировны Тырковой:* Дневники. Письма / Сост. Н.И. Каницева. М.: РОССПЭН, 2012.
- (*Nasledie Ariadny Vladimirovny Tyrkovoy:* Dnevnik. Pis'ma. Moscow, 2012.)
- [Окунев 2020] — *Окунев Н.П.* В годы великих потрясений. Дневник московского обывателя 1914—1924. М.: Кучково поле, 2020.
- (*Okunev N. P.* V gody velikikh potryaseniy. Dnevnik moskovskogo obyvatel'ya 1914—1924. Moscow, 2020.)
- [Письма... 1959] — *Письма К.Д. Кавелина к Т.Н. Грановскому // Литературное наследство.* Т. 67. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 591—614.
- (*Pis'ma K. D. Kavelina k T. N. Granovskomu // Literaturnoe nasledstvo.* Vol. 67. Moscow, 1959. P. 591—614.)
- [Погодин 1874] — *Погодин М.П.* Сочинения М.П. Погодина: В 5 т. Т.4. Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской войны. М.: Тип. В.М. Фриш, 1874.
- (*Pogodin M. P.* Sochineniya M. P. Pogodina: In 5 vols. Vol. 4. Istoriko-politicheskie pis'ma i zapiski v prodolzhenie Krymskoy voyny. Moscow, 1874.)
- [Пущин 2012] — *Пущин П.С.* Дневник 1812—1814 годов. *Чичерин А.В.* Дневник 1812—1813 годов. М.: Кучково поле, 2012.
- (*Pushchin P. S.* Dnevnik 1812—1814 godov. *Chicherin A. V.* Dnevnik 1812—1813 godov. Moscow, 2012.)
- [Рюзен 2005] — *Рюзен Й.* Кризис, травма и идентичность / Пер. с нем. А.В. Антощенко // «Цепь времен»: проблемы исторического сознания / Отв. ред. Л.П. Репина. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 38—62.
- (*Rüsen J.* Krise, Trauma, Identität. Moscow, 2005. — In Russ.)
- [Струве 1911] — *Струве П.Б.* Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. СПб.: Д.Е. Жуковский, 1911.
- (*Struve P. B.* Patriotica. Politika, kul'tura, religiya, sotsializm. Saint Petersburg, 1911.)
- [Сухотина-Толстая 1984] — *Сухотина-Толстая Т.Л.* Дневник. М.: Современник, 1984.
- (*Sukhotina-Tolstaya T. L.* Dnevnik. Moscow, 1984.)
- [Труды... 1907] — *Труды Второго съезда отечественных психиатров,* происходившего в Киеве с 4 по 11 сентября 1905 г. Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1907.
- (*Trudy Vtorogo s'yezda otechestvennykh psikiatrov, proiskhodivshogo v Kyive s 4 po 11 sentyabrya 1905 g.* Kyiv, 1907.)
- [Тыркова 1992] — *Тыркова А.В.* Петроградский дневник // Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб.: Феникс ATHENEUM, 1992. С. 319—339.

- (*Tyrkova A. V. Petrogradskiy dnevnik // Zven'ya: Istoricheskiy al'manakh. Issue 2. Moscow; Saint Petersburg, 1992. P. 319—339.*)
- [Петракова 2022] — *Петракова Г.* Травма свидетеля. Почему мне плохо от того, что я вижу, и как с этим справиться. М.: Бомбора, 2022.
- (*Petrakova G. Travma svidetelya. Pochemu mne plokho ot togo, chto ya vizhu, i kak s etim spravit'sya. Moscow, 2022.*)
- [Феоктистов 1991] — *Феоктистов Е.М.* За кулисами политики и литературы (1848—1896). Воспоминания. М.: Новости, 1991.
- (*Feoktistov Ye.M. Za kulisami politiki i literatury (1848—1896). Vospominaniya. Moscow, 1991.*)
- [Чернышевский 1939] — *Чернышевский Н.Г.* Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 1: Дневники. Из автобиографии. Воспоминания. М.: Гослитиздат, 1939.
- (*Chernyshevskiy N.G. Polnoe sobranie sochineniy: In 15 vols. Vol. 1: Dnevnik. Iz avtobiografii. Vospominaniya. Moscow, 1939.*)
- [Штакеншнейдер 1934] — *Штакеншнейдер Е.А.* Дневник и записки (1854—1886). М.; Л.: Academia, 1934.
- (*Shtakenshneyder Ye.A. Dnevnik i zapiski (1854—1886). Moscow; Leningrad, 1934.*)
- [Ясперс 1999] — *Ясперс К.* Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии / Пер. с нем. С. Апта. М.: Прогресс, 1999.
- (*Jaspers K. Die Schuldfrage. Von der politischen Haftung Deutschlands. Moscow, 1999. — In Russ.*)
- [Тесич 1992] — *Тесич С.* A Government of Lies // The Nation. 1992. Vol. 254. January 6/13. P. 12—14.
- [Томкинс 1963] — *Tomkins S.* Affect Imagery Consciousness. Vol. II: The Negative Affects. New York: Springer Publishing Company, 1963.